

Три круга

Станиславу Белякову

Иван Сергеевич когда-то был военным - полковник. Но это было давно, и вспоминать о том времени он не любит с тех пор, как изрешеченный под Берлином, еле-еле добрался до дому на костылях. Постепенно разучивал ходьбу, заново начал двигать руками, с годами дело улучшилось. Держит пчел, огородик, и вдвоем с женою коротают жизнь.

Домик Ивана Сергеевича присел посередине хутора. Хутор - девять двориков, истерзанных нуждою, запустением, дождями и морозами России, бездетный: вдовы, старухи, забытые богом и брошенные властью. Старухи дружно держатся за Ивана Сергеича - у него у одного имеется настоящее ружье и острый топор, хотя на хутор ни воры, ни бандиты не заглядывают, украсть нечего, отобрать тоже. Обычная бедность.

Каждый раз 9 Мая, в день Победы, старухи надевают дешевые ситцевые кофты, повязывают белыми платочками головы и, в запонах и трогательных носочках, приходят поздравлять Ивана Сергеича под окна его домика. Домик, белый и острокрыший, похожий на зайца со вскинутыми ушами и вылупленными глазами-окошками, принимает старух радушно, поит чаем, подносит по чарочке вина.

Но все, что требуется для гостей, соображала и вела жена Ивана Сергеича, Наташа, так ее нежно называли хуторяне и не меняли ни отношения к ней, ни ее светлого имени: Наташа, поскольку уважали ее не меньше, чем уважали ее хозяина, Ивана Сергеича. Наташа ругала бригадира за равнодушие и незаботу о старухах, солдатских матерях и вдовах, Наташа писала скромные просьбы за них в райисполком и так далее.

По специальности Наташа - медсестра, а по сердечности - сестра родная, воспитанная и надежная. Но Иван Сергеич быстро утомлялся от женских разговоров и суждений, доканчивал винцо и выбирался на холмик, маячивший за огородом над рекою. Река получила очень редкое имя - Сестра. Жена у Ивана Сергеича - медсестра, старухи зовут ее просто - сестра, река Сестра, пропал, думал Иван Сергеич, с нерадивым окружением: одни сестры, ни покурить, ни поразмышлять...

Пчелы пролетали мимо уха Ивана Сергеича, и он, если напрячься и улавливать, мог угадать - своя или чужая летит. Но его успокаивало то, что если чужая в его улей летит - беды не предвидится... А мед, доставленный своею пчелой, чужою ли, совпадает вкусом, да и берут его пчелы рядом, на приречном лугу в цветах и травах, на липах, когда липы цветут, завешивая густыми зелеными ветвями болото, где жили журавли.

Садится Иван Сергеич на самую макушку холмика. Редкое счастье - на четыре стороны, оглянись, зеленый круг леса, зеленый круг полей, а в центре - золотой каравай солнца. Красиво, аж слезы подкатываются к горлу. Так - в июле, в августе, а в сентябре иная картина: золотозвонные дали, золотозвонные и с грустным русским ветром, словно скифы в курганах поют или плачут, словно погибшие отцы и братья наши стонут в земле, глубоко-глубоко...

На часок, на два Иван Сергеич поднимался к вершине холмика и сидя, вспоминал не историю, не сказки, не личные приключения, а близкое и живое, теплое - вчерашнее. Вот журавли жили на болоте. Тонконогие, элегантные птицы. Попусту не гоношили, не кричали. Растили журавлят, и, тоже тонконогих и элегантных, с детства. Порода, утверждался в мысли Иван Сергеич, дается свыше. И чувствуется порода - в крохе, в ребеночке еще. А нет ее, породы, свисти сусликом, чирикай воробьем.

А перезванивались журавли внезапно. Тихо. Спокойно. Сонное замирание лугов. И вдруг - звон. За ним - еще звон. А им - третий отвечает звон. И удивительная древность повеет в сердце! А они перезваниваются, перекликаются и, смыкаясь голосами на общей грустной мелодии, звенят, звенят, приглушая и надрывая мелодию, и кажется, подталкивают ее, подталкивают кругами, кругами по видимому с холма простору. А осенью улетают.

Разве нет в том тайны и великого смысла, если века текут, а журавли на сестринских болотах, тысячи лет в туман утекло, а журавли на сестринских болотах? Войны отгрохотали, села и города в пожар швырнули, могильные курганы по всей России взошли, а журавли на сестринских болотах.

Иван Сергеич - не просто полковник в отставке, нет: через его память и его судьбу вся Россия на колесах тележных, да на тачанках гривастых проехала и промчалась, немецкими коваными танками зацепила и воющими бомбами успела приструнить.

Еще бабушка рассказывала Ване, маленькому и смышленому, как дедушку его белые коммунисты вывели на крыльцо, а морозы в ноябре с просинью, а он, муж бабушкин, дедок Ванин, в кальсониках и невиноватый, трясется, внезапной жестокостью охваченный.

- Коммунист?...

- Да, да, коммунист!.. Ругаю белых коммунистов за разбой над красными коммунистами, а красных коммунистов ругаю за разбой над белыми коммунистами!..

Попробовал улыбнуться, но не сумел: пуля задымилась у него во рту и уронила его на заиндевелое крылечко. И в ту же минуту журавли в снежных облаках проплакали, последние, опоздавшие. Так и пропадет русский народ под журавлиным рыданием, за журавлиной молитвой потянется и растает. Мы, русские, - исчезающие журавли!..

Отца же своего Иван Сергеич, парнишка, сам, с матерью и остальными домочадцами, проводили на фронт. И тоже - в предзимье, когда журавли по резным ставням деревень русских припорошенными крыльями веяли, а немецкие танки и немецкие бомбы к Московскому Кремлю устремились.

Проводили отца. А весной вдруг возвращение журавлей услышали: выбегли за околицу - летят, знакомые, усталые, верные и завораживающие совесть и душу. Летят, а отца с ними нет. Канул в метелях военных, и правнуки не отыщут. О, журавли, журавли, птицы

храмовые, предсказатели поднебесные!.. И Ваня надолго войне пригодился.

Ну, зачем бежать за журавлями? Медленные и умные, пронзают и пронзают они голосами томительное пространство русское, летят и летят, а под ними тают и тают древние селения русские и народ русский редеет и редеет, словно он давно обиделся на мир: затаился и скоро, скоро взмахнет исполинскими крыльями в журавлиную высь, и на третьем кругу безвозвратно мелькнет у горизонта...

Но и стая журавлей не прибавляется. Примерно одна и та же по числу держится. О чем тут можно догадаться? Значит, определенное число пар сестринская стая выделяет на свободу - Сибирь, Урал, Дальний Восток; лети, размножайся по стране: если бы, если бы!..

Сидит Иван Сергеич. Волосы белые - от седины. Глаза синие, синие. Большие. И когда на речке Сестре медленная синева заколышется, и когда в звонком небе медленная синева всколыхнется - журавли зазвенят, и почудится, звон их, синий и теплый, по долинам плывет, на холмы втекает и за морями в народах истаивает. Уж когда очень сильно звенят журавли - Наташа со старухами взбирается на холмик. Старухи крестятся, а Иван Сергеич молчит. Молчит - лишь сердце у него суровее колокола: бах, бах, разорваться желает! А журавли дадут круг - и до свидания.

Но коли пчел своих от чужих, при напряжении слуха и психологического ассоциативного деза, отличает Иван Сергеич, то журавлей, выделенных родителями на свободу, отличить ему - нет сложностей. Выделенные на свободу журавли, возвращаясь из Египта или же Индии, ярогосые и стройные, ровнясь по косяку, по вожаку, обязательно дают, чуть снизясь, круг над сестринским плесом, возбужденно ударив звоном по родимым лугам и болотцам. Приветствуя хуторян и лично его, Ивана Сергеича, сообщают: "Мы живы, спасибо, хуторяне!"..

Угадывает Иван Сергеич выделенных журавлей и тогда, когда они держат путь из Сибири и Урала в Египет и в Индию: три круга дают свободные журавли, три круга и звенят, звенят, так звенят, что Наташа и старухи машут им ладонями и ревут, будто снова детей собственных провожают на проклятую войну, на черную бойню. А журавли звенят: то ли чувствуют боль человеческую, то ли сотворены так же, как мы, и родимая даль, которую они покидают, под крыльями у них колеблется, а остановить их не может. И они не могут ни отстать, ни прижаться на миг к этим нищим болотцам, к этим седым

русским туманам, где на седом холмике машет, машет и кричит им седой Иван Сергеич.

Грустно. Да как не грустно, если грустнее и беды придумать нельзя? Приехал начальник-мелиоратор по ранней весне в хутор. За ним приползли бульдозеры. За бульдозерами - тягачи с трубами, самосвалы с песком. Начальник - широкомордый, лобастый. Бульдозеры - широкомордые, лобастые. Тягачи - широкомордые, лобастые. Самосвалы - широкомордые, лобастые. Ну кто удержится перед ними?

Иван Сергеич хватался за ружье. Наташа со старухами - за топор, но широкомордая лобастая банда проложила здоровенные трубы по болоту, навалила горы песка, а потом сравняла песок, утрамбовала, теперь - асфальтный тракт, спроектированный турецким инженером Халифом Библуазотом, а по краям тракта - совместные предприятия химической компании США и мыловаренной фабрики Тайваня. Пропали. Русский лес продали. Русские избенки сжигают. А в Россию кавказцы камень везут. На века везут...

Наши совсем исчезли журавли, ближние, а свободные, выделенные журавли для Урала и Сибири, дадут три круга, дадут три круга и улетят. Это они - когда в Египет и в Индию летят, от нас летят. А когда к нам - не дают приветственного круга, не здороваются. Да и эти-то, прощальные-то круги, молча дают, молча дают. Трудно звенеть им над мертвым болотом и мертвыми лугами. А может, и вообще не в силах зазвенеть, голос у них, осиротелых, треснул?

Спросите у Ивана Сергеича - он знает, почему журавли онемели. Вот недавно поднялся он на холмик, оглянулся вокруг и читает. Читает стихи Есенина. Старый, седой, стоит на холме:

Отговорила роща золотая

Березовым веселым языком

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Один остался Иван Сергеич на хуторе. Наташа его умерла. Старухи раньше ее вымерли. Под крыши их въехали чужие темные люди. Сжигают русские нищие избенки и возводят на зеленых берегах древней русской реки Сестры виллы. О ком жалеть-то?

1990